

Г. ШОЛОХОВ-СИНЯВСКИЙ.

# Из лирических записей о Таганроге

**К** станции поезд подходит осторожно. Я испытываю томительное волнение, словно перед встречей с давным любимым другом. Мне кажется сейчас я увижу неизвестных мне близких людей, которые весьма заинтересованы моим приездом. Но где эти близкие люди, кажущиеся теперь такими далекими и тусклыми?

Никто не ждет меня: в Таганроге я не был 15 лет... Люди, когда-то знавшие меня, затерялись в огромном пространстве жизни, а многие умерли.

Поезд останавливается. Я выхожу из вагона. Волнение и грустно-тревожное чувство не покидает меня. Помимо воли я продолжаю идуше озираясь по сторонам, всматриваясь в лица. Я иду по высокому перрону. Здание вокзала кажется мне не таким массивным и внушительным, каким оно казалось мне прежде, но в нем есть что-то яркое и свежее: это светлая, ласкающая глаз окраска, новый огромный шит с надписью: «станция Таганрог», и прозрачные окна...

Все здесь мне знакомо. Я смотрю на вещи и на людей сквозь сумрачную призму воспоминаний. Здесь, в 1918 году, прямо в перрон врезался пушенный большевиками со станции Марцево паровоз. Своими передними бегунками он разворотил бетонированную кладку и уткнулся буферами в стену вокзала, переполошив засевших в нем юнкеров. Это решило их участь... Перепуганные юнкера кинулись вон из вокзала и были встречены пулями таганрогских рабочих...

Тогда вокзал был сер и грязен, в нем стоял запах мокрого шинельного сукна, а по полу ползали сыпно-тифозные вши... Разбитые окна дышали холодом разрушения. Теперь здесь новая бетонная кладка, у перрона разбиты цветочные клумбы, стоят античные вазы и статуи. Они создают впечатление красивой и умной жизни.

Выхожу на привокзальную площадь. На этой площади, когда то неровной и грязной, покрытой лошадиным пометом, не раз ступала моя нога. Здесь стоял ряд деревянных рундуков, в которых продавали кровавую колбасу, куски прелой макухи и арбузы...

Теперь ноги мои радостно ступают по усыпанным песком тропинкам... Просторный сквер с молодыми деревьями, клумбами, фонтанами раскинулся перед вокзалом... Вечер.

Торжественные и бодрые звуки оркестра отгоняют мрачные воспоминания... Теперь здесь стадион, а мимо него тянется стальная колеся трамвайного пути...

Но стоит ли говорить о том, что стало для таганрожцев обычным? Лица их ничем не взволнованы. Эти люди, потомки чеховских современников, уже привыкли ко всему, и

только я один сажусь в новенький вагон трамвая с восторженным лицом. Я все еще как будто не верю, спрашиваю, сколько стоит билет и ничуть не обижаюсь на обычный, суховатый ответ кондукторши.

Я еду квартал и схожу. Мне хочется пройти пешком по тем улицам, где тускло брели первые годы моей молодости... Меня горючит нетерпение...

Прежде, чем выйти на бывшую Петровскую, я надеюсь увидеть грязное пространство с кривыми деревьями и вместо этого вижу огромное новое здание в сквер. Это — клуб машиностроителей...

А вот и улица Ленина. На мостовой следы ремонта, встречаются неубранные кучи бульжника и щебня... Посмотрим, что здесь затевается?

Я уже не жду встреч со знакомыми. Вещи осаждают меня со всех сторон...

У входа в городской сад — статуи и вазы... Говорят, их поставили только вчера. Иду дальше... Что это? Самая настоящая асфальтированная мостовая... Мне хочется снять ботинки и пробежаться босиком. Что, если бы появился на этой улице чеховский учитель Беликов? Мне кажется, он не выдержал бы такой удивительной чистоты и глади, первый раз в жизни снял бы свои галоши и, пройдясь немного, остановился бы, выткнув кверху палец, и сказал замирающим от восторга голосом:

— Антропос!  
Или, кто знает, могло случиться, что он навсегда изменил бы своей привычке ходить и лето, и зиму в галошах... Ведь асфальтированная улица Ленина — это не грязная Петровская, времени А. П. Чехова...

...Я иду и думаю о людях, которых знал 15 лет назад и которых вижу теперь. Вот они идут навстречу со спокойными, уверенными лицами. И мне кажется, они недопустимо спокойны...

Как можно быть спокойными, когда в руках столько приобретений и завоеваний? Знаю — вот этот старичок чеховского типа в соломенной «панаме» и старой накидке — пробрызжит мне, в ответ на мой восторг, о том, что не все улицы асфальтируются, не всюду еще проходит трамвайные пути, а водопровод иногда работает с перебоями. Этот старик уже явно избалован... Ему не хватает трамвайных и водопроводных линий, античных статуй и цветочных бордюров... Он не видит, как весь город охвачен генеральной уборкой, чисткой и общим стремлением к украшению жизни... Он брюзжит, этот старик, а сам, придя домой, старательно оберегает посаженный у окон своего дома газон и цветы...

Он не хочет сознаться в своей гордости за свой город и в провинциальном патриотизме. Он будто бы не замечает тысяч заботливых, радостных рук, украшающих улицы окраин и бережно относящихся к вазам и статуям...

Я не узнаю Таганрога, в нем местами много еще пыли, глинобитных мазанок, неровных улиц, — но то, что уже заложено тысячами рук, растет и ширится как новое и светлое, — сотканное из воздуха и солнца, — здание...

Вспоминается случай из детства. Мне было восемь лет. Отец и я заехали на один из таганрогских постоянных дворов ночевать.

В низком накуреном помещении огромная шарманка играла вальс «Тоска по родине». Мы пили чай и ели сухую дахнущую чесночком, колбасу. Половые в грязных парусиновых фартуках бегали вокруг нас с чайными приборами. Возле нас сидели двое мастеровых. Мимо них проходил толстый буфетчик в чесучевой рубаше и жилете... Один из мастеровых, толстый, вихрастый парень, с веселым конопа-



Мраморная доска на бывшей таганрогской гимназии (сейчас школа № 2).

тым лицом — был, очевидно, выпивши. Рассказывая на стуле и ухмыляясь, он сказал о буфетчике:

— Рожа-то, Вань, посмотри какая: хоть портянки суши.

Парень был в ударе. На остреньком носу его присохла капля белил — это был красильщик.

Буфетчик, не долго думая, медленно отвел руку и ударил парня в лицо. На грязную скатерть стола брызнула кровь. Кулак у буфетчика был крупный и багровый, с толстыми, короткими пальцами.

Трое половых мигом подхватили красильщика под мышки и поволокли к дверям. Молчаливого и, видимо, добродушного товарища его, били с двух сторон, не давая упасть.

Появился городской. Парней столкнули с лестницы, с минутку раздавались их взывающие крики, а потом заиграла шарманка, и шум драки потонул в визгливых, ноющих звуках...

Палуганный я жался к отцу. Кусочек сахара, прилипший к моему языку, казался мне тогда противным на вкус. Отец растерянно и жалко улыбался. В лице его нельзя было увидеть ни решимости, ни возмущения. Мне было жалко вихрастого, веселого парня, обидно за людей, не вставших на его защиту. Буфетчик стоял за стойкой — красноречивый и невозмутимый. Вид его выражал уверенность в своей правоте.

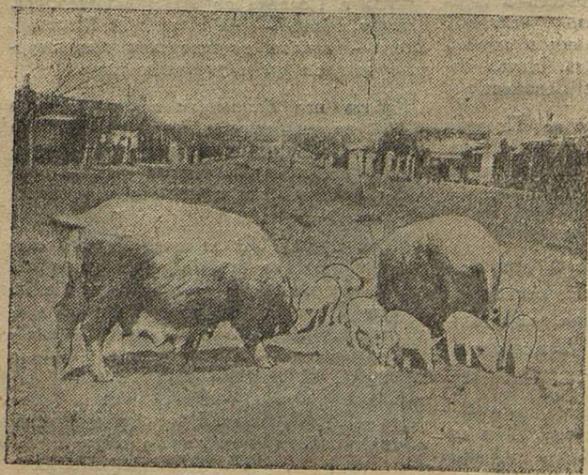
Я вспоминаю этот ничтожный случай, проходя по улицам Таганрога. Я глубже вникаю в смысл этого воспоминания...

Теперь каждому понятно, почему так слабо защищались мастеровые и почему окружающие не вступились за них... Это было в 1909 году.

Можно ли сказать, что у мастеровых не хватило тогда подлинного человеческого достоинства, сознания своей силы? — Можно. А у отца моего не нашлось достаточной смелости, чтобы вступить за своих же собратьев. Он тоже не знал, что может существовать достоинство равноправного во всем человека.

Я всматриваюсь в лица таганрожцев, в их походку, их жесты и улыбки, вслушиваюсь в их речи и явственно вижу и чувствую это достоинство. Попробуй-ка ударить этого парня в белом костюме с открытой загорелой грудью и смелым лицом? Он гордо держит голову и идет по асфальтированной улице, как хозяин. Может быть эта мостовая вымощена его руками? Он знает, что такое человеческое достоинство, культура, красота... Все это ему дала коммунистическая партия и советская власть. И он знает, что никто не отнимет у него этого достоинства, он не потерпит ни одного оскорбительного слова.

С этими людьми хорошо жить... Жизнь стала прекрасна.



Одна из улиц Таганрога чеховских времен.